



Э. М. РАЙС

Максимилиан Волошин и его время

1

Трудности Волошина, как житейские, так и литературные, — обратная сторона сложности и несовершенства его человеческого устройства. Вечно неприкаянный, нервный и беспорядочный, он созревал и находил самого себя медленно и с трудом, с колебаниями, с мучительным топтанием на месте, путаясь в своей личной нелегкой судьбе, в противоречиях своей натуры и в тяжести своего немалого культурного багажа.

Как человек он для нас, в первую очередь, и интересен. Поэтическим дарованием, и большим, Волошин несомненно обладал. Но за всю свою жизнь он так и не сумел окончательно выбрать своего пути — между поэзией, живописью, эзотерикой, между историками, поэтами и богословами и, наконец, простым и искренним русским исканием Божьей правды, в его случае особенно мучительным, из-за оторванности его от русской стихии — мало было в России людей, более глубоко пропитанных западной культурой, чем М. Волошин. Да и неизвестно — хотел ли он выбирать. Сухой западный формализм должен был глубоко претить его духовно-насыщенной непосредственности. Ко всему еще, привелось ему очутиться безоружным посреди апокалиптических событий, очевидцем, участником и жертвой которых ему суждено было стать.

И хотя ничего не смог он им противопоставить, кроме своей душевной чистоты и высокого самопожертвования, многие годы Бог таинственно хранил его на прославленной коктебельской даче.

По этой же причине трудно о Максе Волошине писать. У него все перепутано, все вместе, все сразу. Да к тому же часто все не на своем месте. Но в этом и сказывалась его подлинная человечность. В нашу эпоху всеобщей, калечащей душу специализации мы привыкли к тому, что у каждого противоестественная «полнота с одной стороны». И если нам попадается человек, у которого на первом плане его целостная личность и который поэтому не уместается в привычные нам внешние

рамки и схемы, нам становится не по себе, и мы не знаем, с какого конца к нему приступить.

Волошин — человек не нашего времени. Он так и не остался ни поэтом, ни живописцем, ни оккультистом, ни пророком — в прямом, узком смысле этих слов. Но все эти начала в нем уживались вместе и одновременно. Это только одна из причин некой как бы недоовоплощенности его облика.

В беспорядочном нагромождении и переплетении всего со всем — масонства с католицизмом, Родена с Аввакумом и богемы с аскетизмом, как только схватишься за какую-либо из беспорядочно торчащих во все стороны нитей, за ней потянется все сразу — клочок рыжего крымского чертополоха на обломке резного деревянного украшения из недостроенного Гетеанума и глубокомысленные размышления о перевоплощении рядом с непристойной шуткой парижских художественных кофеен. В основе своей Волошин так же бесформенно мягкотел, как и Розанов, только он вылеплен из иных и иначе замешанных материалов. Он не только воплощенный беспорядок, но и глубоко несовершенное и несчастное существо, трудная для разрешения задача, поставленная судьбою перед ним самим.

Последователь многих оккультных и эзотерических учений, от Бхагавад-Гиты до Мейстера Экхардта, от масонства до штейнерианства, он много и упорно работал над собой. Только объект его усилий, хотя и наделенный чрезвычайно ценными возможностями, был особенно неблагоприятен и неподатлив.

Взять хотя бы его затруднения в области половой жизни, о которых сохранились свидетельства лиц, близко его знавших. Они его называли «недоовоплощенным». Можно заметить, вплоть до очень поздних лет его жизни, наличие препятствий на его личном пути, замедлявших созревание его творчества и затруднявших его путь к духовному совершенству.

Об этом приходится пожалеть тем более, что несовершенства Волошина-человека долгое время отрицательно отражались и на многих его стихах, которые, при всей их формальной виртуозности, зачастую оставались внутренне противоречивыми, хаотическими, перегруженными тучей всевозможных инородных тел.

Тем не менее, глядя издалека на его жизненный и творческий путь, мы ясно различаем соответствие между его трудной, неустоявшейся, полной соблазнов и блужданий молодостью и роковыми канунами первой мировой войны, когда человечество, ожидавшее последней и окончательной победы над историей и над космосом (которую, казалось, можно уже было достать рукой), провалилось в бездну, из каковой и ныне еще не видно выхода и каковая грозит поглотить все мироздание.

Точно также зрелые годы поэта совпали с первыми порывами урагана, продолжающего потрясать основы человеческого бытия. В это время сумбурные искания и тягостные конфликты первого периода его сознательной жизни сменились той высокой отрешенностью — несомненно вне- и сверх-литературного свойства, — подлинная духовная ценность которой подтвердилась его почти чудесной невредимостью посреди дико разбушевавшихся страстей:

Но в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил:
Ни власть не отняла, ни враг не сжег,
Не предал друг, грабитель не ограбил.

Некоторые современники (Ходасевич, например) сообщают, что советская власть потому и пощадила Волошина, что не принимала его всерьез как противника, рассматривая и его гневные обличения, и его личное бесстрашие, как безобидное чудачество и даже юродство. Любопытно, что ту же самую ошибку, хотя и исходя из диаметрально противоположных соображений, делает в своих воспоминаниях И. А. Бунин. Но из этого только видно, что крайности сходятся и действительно сошлись в данном случае на непонимании истинного значения подлинной духовной силы — и только из-за ее внешней неприглядности, мнимой несвоевременности и дон-кихотского контраста кажущегося бессилия Волошина перед лицом всемогущей партии.

Вместе с тем, он — явление глубоко и специфически русское. Как раз тот факт, что его облик не исчерпывается поэзией, что поэзия — только одна из струн его многоголосой души, одно из проявлений его многообразного я — специфическое и неотъемлемое свойство русскости. Русский человек никогда не переставал оказывать упорное, хотя и снаружи незаметное, сопротивление всяким попыткам втиснуть его в рамки каких бы то ни было внешних, рациональных схем или отвлеченных правил. Он постоянно выпирает из любых перегородок, искусственно стесняющих естественное развитие и проявление его личности. Даже советскому режиму не удалось сломить эту неподатливость, это спасительное природное упорство русского народа. Ныне новоприбывшие из СССР, рожденные и воспитанные в советских условиях молодые люди, приходят на парижские собрания с не меньшим опозданием, чем их выросшие при покладистом старом режиме предшественники из так называемой «первой» или «старой» эмиграции. И покидают они их не менее глубокой ночью, в пылу нескончаемых споров, хотя и знают, что завтра им предстоит ранний уход на часто неблагоприятную, изнурительную работу.

2

Я лично предпочитаю акварели и гуаши М. Волошина многим его стихам. <...>

Независимо от того, как относиться к личности и творчеству Рудольфа Штейнера, в наши дни уже стало трудно полностью отрицать могущественный животворный импульс, сообщенный им почти всем областям человеческой деятельности, от личного самоусовершенствования и философии истории до разных отраслей искусства, биологии и педагогики.

Как и у Баха, на расстоянии почти что не верится, чтобы один человек за свою короткую жизнь (а жизнь Штейнера была, даже по человеческим масштабам, недолгой) смог столько создать, открыть столько новых горизонтов и, в критическую для человечества пору, проложить пути, если не к спасению, как считают его безоговорочные последователи, то к поискам возможного исхода, чтобы разрубить все множасьщиеся гордые узлы всеобщего духовного оскудения и материалистической науки.

Хотя у живописцев группы Дорнаха есть немало искусственного, нарочитого и малокровного, что всегда неизбежно, если художник, вместо того чтобы без оглядки следовать своему внутреннему чутью, применяет какие бы то ни было пришедшие извне теоретические или мирозерцательные установки, у них можно встретить и немало подлинного, интересного, носящего отпечаток сильной и своеобразной личности.

<...>

3

Для того, чтобы по заслугам оценить поэзию Волошина, с точки зрения не наших ожиданий, а его стремлений, не надо забывать, что в его лице мы имеем дело с интеллигентом до мозга костей, прежде и больше даже, чем с поэтом. А потому и стихи его написаны языком интеллигента.

Тем не менее, стихи это настоящие.

<...>

6

Главные темы дореволюционной волошинской поэзии — искусство, фантастический, навеянный его крымскими и среднеазиатскими впечатлениями пейзаж, метафизика, главным образом (но не исключительно) штейнерианская. После Октября — и поэтическая журналистика о русской революции, доходящая до высот философии истории.

<...>

7

Настоящие, до мозга костей, Божьей милостью интеллигенты (если можно так выразиться: ведь бывают Божьей милостью поэты!) — привилегия России. Их в России не только количественно намного больше, чем в любой другой стране (что ныне уже стало общеизвестным), но среди этого количества (совсем недурного среднего уровня) особенно выделяются качественные вершины, почти что никогда не бывающие ни у какого другого народа. Особенно много их было и особенно высокого уровня они достигли как раз в эпоху Ренессанса, одним из достойных представителей которого был и М. Волошин.

Конечно, ни по дарованиям, ни по широте миросозерцательного охвата, ни по обширности познаний он все-таки не может сравниться с такими светилами, как, например, Вячеслав Иванов, который, хотя и ударился было в эрудицию, разросшуюся у него до устрашающих размеров, как раз и был, в первую очередь, подлинным поэтом; или как Андрей Белый и о. Павел Флоренский, у кого не знаешь, чему больше удивляться — всемогуществу их гения или беспредельности их познаний.

Но несомненно и Волошин принадлежал к их разряду и был вылеплен из того же теста, что и они. Среди нас, сегодня, он несомненно казался бы чудом природы и неисчерпаемым кладезем премудрости. Его глубокая, подлинная, врожденная культурность проявилась, конечно, и в его стихах, вышеприведенные примеры которых, думаем, не оставляют на этот счет никаких сомнений.

Но все-таки настоящая суть его «я» лежала в иной плоскости.

В конечном итоге, в многогранной, противоречивой личности Волошина интеллигент победил поэта и был, в свою очередь, побежден его русскостью. Все-таки Волошин понимал больше, чем мог, и был теоретиком больше, чем практиком. А русская стихия одержала в нем верх именно как непреодолимая сила, как это случилось и с Н. А. Бердяевым в последний период его жизни, хотя, конечно, и в совершенно иных формах.

Последние из дошедших до нас стихов Волошина — «Сказание об иноке Епифании» — остались скорее в стадии намерения. Русская церковь так и не стала для него такой же органической внутренней реальностью, как, например, для Тернавцева, тоже одного из великих и всеобъемлющих представителей культуры Ренессанса.

<...>

Штейнерианство было основной привязанностью всей его трудной жизни. Без него вообще невозможно понять не только Волошина,

но и весь этот последний, самый блестящий период мировой культуры, которым был русский Ренессанс 1890–1920 гг. — последняя, ярчайшая вспышка человеческого гения, перед погружением в кромешный апокалиптический мрак исторических катастроф, в котором мы продолжаем барахтаться и поныне, не предвидя конца нашим испытаниям.

Продолжать отрицать или замалчивать наличие русского Ренессанса, как бы хотелось нынешним владыкам России и их приспешникам из свободного мира, стало уже невозможно. <...>

8

По мере того, как проходит время и мы все лучше усваиваем все большее количество источников, а также в свете расширяющейся исторической перспективы, для нас яснее становится роль, которую сыграло в развитии русского Ренессанса учение великого немецкого мыслителя Рудольфа Штейнера.

К нему можно относиться как угодно — от фанатизма приверженцев, для которых каждое его слово — не подлежащая критике истина, до пренебрежительной насмешки тех наших современников, которые только слышали его имя, но привыкли а priori не доверять учениям, возникшим в нашу эпоху, до предвзятой враждебности революционных кругов, чующих с этой стороны смертельную для себя опасность. <...>

Нисколько не собираясь впадать в односторонность безусловных последователей — как и ни в какую иную ограниченную кружковщину, прекрасно сознавая границы и ошибки его учения, в значительной мере остающегося в плену представлений и настроений начала нашего века, нельзя не признать, что в лице Штейнера мы все-таки имеем дело с явлением исключительным.

Не говоря даже о том, что он сумел достичь совершенно невероятной уже в его время компетентности почти во всех, не только гуманитарных, но и естественных науках, во многих из них он проложил совершенно новые пути, большей частью и донныне еще не пройденные до конца. Многие из его идей и начинаний продолжают занимать лучшие умы нашей эпохи.

Но важнее всего, конечно, духовная основа его учения, которая с чрезвычайной силой сказала на многих наиболее выдающихся представителях русского Ренессанса.

Не говоря уж об Андрее Белом или Максимилиане Волошине, которые были его ревностными последователями, его влияние заметно отразилось и на Вячеславе Иванове, и на Блоке, даже если последний ему временами сознательно противился, а может быть именно благодаря этому. Кленовский приводит ряд ярких примеров несомненного

влияния Штейнера также на Ходасевича, Гумилева, Сологуба и многих других. <...>

Что штейнерианство было делом жизни Волошина, может быть даже в большей мере, чем искусство, видно не только по его стихам, но и по глубокой перемене всего его образа жизни, начиная с наступления бедствий — сначала первой мировой войны, а затем и революции. Даже его поэзия претерпела коренную, почти внезапную перемену, о которой речь еще будет впереди.

Если бы уже со времен эстетизма духовные интересы не занимали в жизни Волошина господствующего положения, ничто не могло бы объяснить происшедшую под влиянием событий перемену его облика. И — отметим — хотя все тогдашние русские писатели были одинаково глубоко потрясены событиями, ни у кого другого мы не наблюдали такого крутого перелома, как у Волошина.

<...>

<...> ...Тот факт, что гнозис Волошина штейнерианский, а не масонский, раскольничий или ведантистский, хотя он этими учениями тоже близко интересовался, весьма показателен и важен для понимания Волошина — человека и поэта.

Что штейнерианское начало перевешивало у Волошина все его остальные оккультные искания, видно хотя бы из того, что, несмотря на его активное участие в масонстве, в его стихах сравнительно мало следов масонской специфики, тогда как штейнерианская — на каждом шагу, если угодно — даже сплошь да рядом.

Любопытно, что, например, в стихотворении, так явно навеянном масонскими впечатлениями, как «Подмастерье»:

Нет грани меж прозой и стихом:
Речение,
В котором все слова притерты,
Пригнаны и сплавлены
Умом и терпугом, паялом и терпеньем,
Становится лирической строфой...

— он пользуется преимущественно образами и понятиями штейнерианства. Оно выглядит, как свидетельство штейнерианца о масонстве, пусть даже глубоко, по личному опыту с масонством знакомого:

Увидишь ты, что все явленья —
Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном собираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.

Когда же ты поймешь, что ты не сын Земли,
 Но путник по вселенным,
 Что Солнца и Созвездья возникали
 И гибли внутри тебя,
 Что всюду — и в тварях, и вещах — томится
 Божественное Слово,
 Их к бытию призвавшее...

То же можно сказать и об его отношении к индуизму:

С грустью принимаю
 Тягу древних змей:
 Медленную Майю
 Торопливых дней. <...>

— где карма трактуется в ее штейнерианском восприятии, хотя и на основе древне-индусских данных. Таково же его отношение и к католицизму, тем не менее основанное на глубоком познании и многолетнем общении с ним... <...>

Во всех его текстах хотя и видно глубокое и подлинное знакомство Волошина со всевозможными духовными учениями, он их все-таки рассматривает через призму штейнерианства, составляющего основную ткань — и смысловую, и словесную — всей его дореволюционной и значительной части позднейшей поэзии.

Для практических выводов из тех или иных метафизических предпосылок штейнерианства особенно важен вопрос о перевоплощениях. Как известно, три основные великие христианские религии, на основании решения Никейского собора, осудившего и Оригена, и гностиков, отрицают признаваемое всеми остальными (по крайней мере из числа мне известных) религиями человечества учение о перевоплощении. Если в одних (ведантизм, буддизм, манихейство) оно составляет основную сущность всего остального, то в других, у которых центр тяжести в иных проблемах (еврейство, античное язычество, ислам, таоизм), все-таки дожизненная и посмертная судьба человека остаются в живом взаимодействии с его нынешней земной жизнью.

Без учения о перевоплощении как история человечества, так и земная судьба каждого из нас становятся вопиющей бессмыслицей, единственным отводом от которой остается не всегда состоятельная и в общем неопределенная ссылка на тайну божественных велений.

И никогда не дается богословски хоть сколько-нибудь определенный ответ на вопрос о том, какая же это, в конечном итоге, всеобъясняющая «тайна»?

Выходит, будто глубочайшая эзотерика самого христианства все-таки основана на перевоплощениях, но о них не говорится открыто, чтобы не смущать малых сих касательно исключительности явления богочеловечества. Возможно, что Ориген и гностики были осуждены не за свое учение, а за его обнародование.

<...>

Далеко не всегда увлечение Волошина штейнерианством приносило художественно ценные плоды. Волошин ему уделяет слишком много места. Его постоянные намеки на мало кому известную символику утомляют и как бы замедляют ход живой поэтической речи, которая спотыкается и путается среди всех этих сложностей. Это и делает некоторые места поэзии Волошина не до конца ясными, как и вездесущая хлыстовская эзотерика у Ключева.

Вместо того, чтобы выработать свое собственное мирозерцание, Волошин предпочел менее рискованный и менее ответственный путь присоединения к одному из уже существующих учений. Это — безусловно слабость.

Многие его стихи касаются перевоплощений: «все мы умерли где-то давно... все мы еще не родились», «в эти дни душа больна одним искушением — развоплотиться», «нерастворимо в смерти «я», я был, я есмь, я буду снова! Предвечно странствие мое», «дух, воплощаясь, в чреве строит тело» <...>.

Эти цитаты очень легко было бы умножить, особенно если к ним присоединить те многочисленные волошинские тексты, в которых он на перевоплощения только намекает. По приведенным отрывкам видно специфическое для штейнерианства воспоминание о прошлых жизнях, уже проведенных нами на земле, до нашего теперешнего рождения. Оно встречается и во многих других гностических учениях, но штейнерианство направило особые усилия на уловление этих воспоминаний для установления непрерывной нити сознания, идущей не только в будущее, но и в прошлое. Некоторые упражнения штейнерианской аскезы, основы которой изложены в его знаменитой книге «*Wie erlangt man Erkenntnis höherer Welten*»¹, направлены к этой цели. Волошин идет от смутного: «после долгих лет скитанья нити темного сознания привели меня назад», или:

Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях темных. Мы
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы...

— до начала какого-то прояснения:

Наш горький дух... (И память нас томит...)
 Наш горький дух пророс из тьмы, как травы,
 В нем навий яд, могильные отравы.
 В нем время спит, как в недрах пирамид.

Иной раз он по тону напоминает Баратынского:

О, вещей голос темной крови!
 Я знаю этот лоб и нос,
 И тяжкий водопад волос,
 И эти сдвинутые брови...

Не отсюда ли рождается то, что мы привыкли называть любовью? Не есть ли любовь усилие отгадать кого-то другого, уже где-то нами встреченного в прошлом? «Не меня ты во мне обнимала, не тебя я во тьме целовал», и «ты кого-то другого любила, и к другой мое сердце рвалось». Но «расплескали мы древние чаши, налитые священным вином», и

Но смертным и богам отверст различный взод:
 Любовь — тропа одним, другим дорога — горе.
 И каждый припадет к сияющей амфоре,
 Где тайной Эроса хранится вещей мед.

Помимо этой посторонней проблематики, Волошин разделяет со своим учителем и его теорию красок как отображения духовных реальностей: «лампу Психеи несущая в руке — синее пламя познания». В данном случае выбор синего цвета объясняется не каким бы то ни было чувственным восприятием или его метафорическим соответствием, а только его символическим значением.

Этика Волошина тоже носит специфически штейнерианский характер: «не противьтесь злему проникнуть в вас: все зло вселенной приняв в себя — собой преобразить должно»².

Точно так же и его философия истории:

Грядущее — извечный сон корней:
 Во время революций водоверти
 Со дна времен взмывает старый ил
 И новизны рыгают стариною.

Или:

...Поверить в мудрость
 Пролитой крови;

Дозволь увидеть
Сквозь смерть и время
Борьбу народов,
Как спазму страсти,
Извергшей семя
Внемирных всходов!³

Легко можно было бы привести еще сколько угодно других примеров глубокого приобщения Волошина к штейнерианству, вошедшему в его кровь и плоть, более чем какое бы то ни было из знакомых ему учений. Но думаем, что и приведенного достаточно. Ограничимся еще одним, особенно показательным и ярким примером. Даже после революции, в поэме, в которой Волошин явно делает большое внутреннее усилие, чтобы приблизиться и словом, и духом к традиционному православию — «Святой Серафим», в гл. 6-й, посвященной классификации смущающих схимника бесов и способов борьбы с ними, отметим оптику, с которой он подходит к «Добротолюбию»:

Сатана
Исказил гниением и смертью
Божий мир;
И, плотию земною
Сам себя связав, —
Он должен
Вместе с ней спастись, или погибнуть.

Значительно реже встречаются у Волошина следы влияния иных духовных учений, например, Мейстера Экхардта:

Беги не зла, а только угасанья;
И грех и страсть — цветенье, а не зло:
Обеззараженность отнюдь не добродетель.

Или Кабалы: «плоть человека — свиток, на котором отмечены все даты бытия»; или индуизма; или хотя бы великолепный всеобъемлющий гностический символ из первой главы стихотворения «Космос».

Его поздние широкие полотна, стилизованные под православие, как «Аввакум», «Святой Серафим» или «Сказание об иноке Епифании», не должны нас обманывать умением автора выдержать поэму в определенном стиле, не только словесном, но и внутреннем. При внимательном чтении становится ясно, что экзистенциально Волошин православным не был. Я бы его охарактеризовал как штейнерианца, прошедшего через

масонство и старающегося стать православным, но все-таки невольно, на каждом шагу оказывающегося штейнерианцем. И тут, за неимением места, мне придется ограничиться ссылкой на уже приведенные тексты, думается мне, достаточно на этот счет определенные.

9

Не будь революции 1917 года, мы бы, вероятно, имели в лице Максимилиана Волошина поэта углубленного гнозиса, тем далее уходящего в метафизические дебри символов, чем более его словесное искусство продвигается вперед по пути совершенства.

Но судьба решила иначе. Условия, в которые история поставила поэта, грандиозные события, свидетелем, участником и жертвой которых она его сделала, настолько сильно преобразили его поэтическое творчество, что на первый взгляд может показаться, что, начиная с войны 1914 года, появился совершенно новый, иной поэт, ничего не имеющий общего с прежним, только намного более значительный, чем предыдущий. На такой точке зрения стоит даже такой изоциренный критик, как Д. П. Святополк-Мирский, который пишет: «*Voloshin... might almost be counted among the minor poets were it not for his poems on the Revolution, but these are so interesting as to require more than a mere mention*»⁴.

На самом деле, это, конечно, не так. Даже приведенные нами до сих пор по иным поводам примеры достаточны для того, чтобы заметить, что мы имеем дело с развитием того же самого поэтического искусства, только со слегка подновленными средствами и на иные сюжеты. Надвинувшиеся события он освещает со все тех же своих прежних теоретических позиций. Продолжается это медленное, естественное созревание, порою немного нарушаемое публицистически заостренной страстностью. В 1918 году он пишет такие строки, мало отличимые от его парижских стихов:

Ныряли чайки в хлябь морскую,
Клубились тучи. Я смотрел,
Как солнце мечет в зыбь стальную
Алмазные потоки стрел.

<...>

У Волошина пробудился до тех пор дремавший словесно неприятный, но духовно напряженный публицист — по нашему скромному мнению, намного сильнейший среди всех публицистов русской поэзии. И хваленному Некрасову далеко до него, как до звезды небесной. А отдельные вспышки негодования Мандельштама или

Хлебникова, при всей их чистоте и яркости, чересчур редки. Только один Ключев может в этом отношении сравниться с Волошиным, хотя он и использовал совершенно иной регистр, ничего общего не имеющий с интеллигенцией.

Ради неприкрашенно протокольного изложения правды Волошин отказывается от поэтического претворения действительности, которая, тем не менее, нисколько не теряет своей убедительности. Он поднял на уровень поэзии новую, грандиозную тематику во всей ее неприкрашенной свирепости. Его гностически окрашенная журналистика (что уже само по себе интересно, независимо ни от какой теории) трепещет пламенем потрясенного страданием и состраданием большого сердца.

Слово победило у других — у Белого, у Хлебникова, у Ключева. Они нашли и выработали новый, свойственный эпохе и обусловленный ею язык, слова которого были бы по плечу событиям. Конечно, о предельных страданиях и о небывалых горизонтах потрясенного мира Волошин не смог продолжать писать своим прежним языком изощренного словесного ювелира, но вместо того, чтобы приступить к созданию нового, он обратился к натурально ему свойственной рифмованной или нерифмованной полупрозе Божьей милостью русского интеллигента.

Его стихи этой эпохи обладают опасным преимуществом — они интереснее своим содержанием, чем своим словом. Это засилие смысла рискует сделать их пресными для грядущих поколений, когда обуревающее нас и Волошина содержание потеряет свою жизненную остроту и останется просто историей, как для нас Реформация или Наполеоновские войны.

Но этот же напор на содержание придает его стихам непобедимую силу подлинной правды и безоговорочной правдивости, продолжающей нас потрясать в огненных инвективах Агриппы Добинье, хотя вызвавшие их религиозные распри уже давно перестали потрясать умы.

В конце концов — важны не литературные жанры, а качество писателя. Качество же Волошина — великое, даже если бы он не был поэтом в том же смысле слова, что и Хлебников, Блок или Сологуб. К этому надо прибавить еще и весьма редкое и высокое качество его человеческой личности.

На подлинное пророчество, всегда включающее и поэзию, — у него не хватило зарядки. Он реагировал на события прежде всего как человек, хотя и умный и много знающий. Волошин дает волю своему негодованию, гневу, отчаянию, ищет спасения, мучительно доискивается смысла происходящего, всматривается, колеблется, спорит сам с собой. В результате получился ряд стихотворно высоко квалифицированных

текстов, полных красноречия и глубокомысленных философско-исторических раздумий, как в «Ангеле Времени» или:

Так дай же силу
 Поверить в мудрость
 Пролитой крови!
 Дозволь увидеть
 Сквозь смерть и время
 Борьбу народов,
 Как спазму страсти,
 Извергшей семя
 Внемирных всходов!

В этом существенная разница между публицистическими стихами Волошина и другого поэта, тоже вступившего в спор с революцией, — Н. Клюева. Острота клюевской анти-партийной полемики — в ее словесном составе, в ослепительном контрасте иконописно-прозрачной сельской идиллии с ядовитой наносной пошлостью пригородного, развороченного революцией жаргона. В их несовместимости — взрывчатая сила и убедительность лучших стихотворений из «Красного рыка» и «Львиного хлеба». Для Клюева революционная трагедия разыгрывалась в первую очередь в области слова. Хлебникову, Мандельштаму и Клюеву удалось то, на чем Волошин сорвался: синтез высокой культуры слова с новым страшным содержанием.

У Волошина красочно-геральдический словарь его ранней лирики, еще столь сильно ощутимый, например, в «Ангеле Времени», все чаще уступает место почти рассудочной прозе, порою лишь едва поддерживаемой схематической тканью белого стиха, как в мирозерцательно столь насыщенном цикле «Путями Каина».

Любопытно, что удачнее всего он там, где стиль наиболее близок к прозе, а не к орнаментальной пышности его первой манеры. Например, стремительный ритм и избегающая метафоры афористическая выразительность «Северовостока» близки к блоковскому третьему тому, а порою даже еще более отточены:

В этом ветре — гнет веков свинцовых,
 Русь Малют, Иванов, Годуновых —
 Хищников, опричников, стрельцов,
 Свежевателей живого мяса —
 Чертогона, вихря, свистопляса —
 Быль царей и явь большевиков.

Иные его формулировки хлещут читателя язвительной силой своей остроты:

Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции — в царях.

Возможно, что если бы Волошин настойчивее придерживался этой линии, ему бы и удалось создать свой личный стиль для революционной поэзии, подобно тому, как Сологуб достиг его путем усиления классических элементов, свойственных его прежнему творчеству. Но метания и острота душевных переживаний Волошина не давали ему устояться как поэту — стихия его уносила все время в разные стороны, прочь от словесных исканий.

Расцвет лично ему свойственных поэтических возможностей еще не наступил. Как поэт, Волошин созрел и нашел себя лишь гораздо позже — после «Путями Каина», когда стало возможно говорить о его третьей манере, о которой подробнее речь будет впереди.

Надо учесть также и факт, что наступившие события в значительной мере способствовали вытеснению у Волошина чисто поэтических интересов в пользу мистики и оккультизма.

В его лице мы касаемся крайне сложного и мало изученного вопроса: преломления штейнерианства сквозь призму русского духа и русской судьбы. Как известно, Р. Штейнер отводил России в своей философии истории чрезвычайно интересную роль. Ей предстоит занять центральное место в культурном цикле, который придет на смену германо-англо-саксонскому, включающему и США, до сих пор возглавлявшему свободный мир. Естественно, эта грядущая славяно-русская культура будет, по взглядам Штейнера, настолько же выше до сих пор руководившей германо-англо-саксонской, насколько эта последняя была выше своей греко-латинской предшественницы. Славяно-русской мировой культуре предстоит всамделишная реализация одухотворения мертвой природы. Н. А. Тургенева в своей во многих отношениях пророческой статье «Пути истории», опубликованной в 1932 году в «Утверждениях», говорит о ней: «Час России наступит. История перед концом своим не может не стать всемирной, точней, — всеземной. Азия и Америка войдут в нее, и центром земли между духовным западом и востоком будет Россия. Ее миссией будет — впитав все достижения настоящего цикла — создать из них семя будущего, пронести его сквозь войну всех против всех и дать начало новому дню человечества... В свой час, на почве добытых Европой Свободы и Знания, найти новую форму, *Жизнь*, — является будущей задачей России».

Волошин на своем личном опыте пережил первое столкновение с историческим ураганом, после окончания которого мировая русская

культура вступит в силу. Тут он перекликается с (в столь многом от него столь отличным) Андреем Белым:

В эти не спазмой трудных родов
Схвачен дух: внутри разодран он
Яростью сгрудившихся народов,
Ужасом разъявщихся времен...

Андрей Белый тоже прошел через глубокое соприкосновение с штейнерианством. Сегодня может быть еще преждевременно подводить итог этому во всяком случае весьма значительному явлению истории русской культуры, но стоит уже о нем упомянуть.

Из стихов Волошина о революции можно извлечь целую философию истории, особенно русской, лишь некоторыми своими сторонами упирающуюся в теории его учителя, в основном же выстраданную им самим из-за стряпейшей над его родиной беды. Его покорность в принятии содеянного зла доходит до мазохизма: «жгучий ветер полярной Преисподней — Божий Бич, — приветствую тебя!»

Что для Волошина центр тяжести оставался в самой жизни, по отношению к которой поэзия была только эпифеноменом, видно хотя бы из принятого им и бесстрашно-последовательно проведенного в жизнь решения спасти возможно большее количество человеческих жизней. По сути дела, решение это было героическим по замыслу, требующим захватывающей дух смелости для выполнения. Речь шла не более и не менее как о нахождении общего знаменателя между коммунизмом и свободой. А ведь до сей поры его никто на свете еще не нашел. Волошин поставил себе задачу небывалой, почти что непреодолимой трудности и блестяще ее разрешил. Позиция Волошина была диаметрально-противоположной трусливому и лицемерному соглашательству с обидчиком и непримирима по отношению к нему. Дело шло о настоящем, бескомпромиссном, укорененном в духовной реальности общем знаменателе.

Уничтожающее осуждение Волошиным коммунистической теории и практики настолько очевидно, что не имеет никакого смысла на нем останавливаться — достаточно прочесть любое из его публицистических стихотворений этого времени. Но его общий знаменатель исключает, или, вернее, берет в скобки, всякую теоретическую оценку столкнувшихся мировоззрений, вынося за них то, что для него самого является самым ценным: человеческую личность. Человек, даже одержимый демонами революции, остается тем не менее человеком, и как такового его можно и следовательно необходимо спасти.

Тем более нужно спасти человека, против демонов сражающегося, даже если в пылу борьбы он сам попадает под влияние темных сил и становится их бессознательным орудием.

Более того, опыт показывает, что самым неутомимым, яростным и бескомпромиссным противником коммунизма и борцом против него становится обычно именно тот, кто сам прошел через соблазн революции и на собственном опыте убедился в его несостоятельности. При условии искренности и честности с собой, всякий коммунист — потенциальный ликвидатор большевизма. Любопытно было бы проследить последующую судьбу спасенных Волошиным коммунистов — я уверен, что она полна невероятных и чрезвычайно поучительных историй. Будем надеяться, что она будет записана, прежде чем станет слишком поздно собирать необходимые свидетельства и документы. Он спасал будущих жертв Ежова и противников Сталина.

Конечно, Волошин при этом не избежал колебаний и ошибок, на которых с такой злорадной готовностью останавливается Бунин в своих воспоминаниях. Но это было, пожалуй, неизбежно. Для нас же важны не они, а достигнутые результаты: не только спасенные жизни, но и незабываемый пример личной и исторической установки, открывающей бесконечные перспективы перед каждым из нас.

На юге России, в период особенно ожесточенной борьбы, кровавых расправ Бела Куна и многократного перехода власти из одних рук в другие, Волошин у белых хлопотал за осужденных на смерть красных, и наоборот:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Вот истинно великий вклад Волошина в историю человечества. Я уверен, что его пример не забудется никогда.

Ежеминутно рискуя головой (как могло такое поведение не показаться подозрительно даже наиболее снисходительным представителям обоих лагерей?), Волошин правильно делал ставку на человечность даже самых бесчеловечных извергов, при самых критических обстоятельствах.

Тот факт, что он победил, т. е. выжил, доказывает правильность его расчета. Значит можно, значит нужно отличать человека от его партии, защищать его от самого себя, от его поглощенного политической страстью «я».

Для меня волошинский подвиг выглядит так: надо было спасать не только и не столько того, чья жизнь была в опасности, а и того, кому грозило стать убийцей. Надо было спасать людей из расплывавшегося

жирным пятном кровавого беспамятства террора, из которого большинство из них не имело сил, а зачастую и желания вырваться.

В застигшей его смуте Волошин видит диалектическое противоречие царившему до нее «последнему часу всемирной тишины», и смута, в свою очередь, выстрадает свою противоположность — будущее духовное совершенство «шестой культуры» славянства:

Много было их — люты, хоробры,
Но исчезли — «изникли как Обры»,
В темной распре улусов и ханств,
И смерчи, что росли и сшибались,
Разошлись, растеклись, растерялись
Средь степных, безысходных пространств.

Уже упомянутый нами цикл «Путями Каина» занимает, пожалуй, центральное место в пореволюционном творчестве Волошина. Он состоит из 14-ти написанных белым стихом глав, каждая из которых разделена на семь неравной величины отделов. Тут автор почти систематически излагает свое понимание событий, мало заботясь о красоте слова, а в первую очередь добиваясь ясности и убедительности. Это — не столько стихи, сколько философский трактат в слегка повышенной ритмом прозе.

Это — картина постепенного скольжения человечества ко злу, незаметного, но неукоснительного перехода от созданного Богом мира к кошмару тоталитарного государства, наступление которого Волошин предвидел во всех подробностях, еще при его зарождении и хаосе первых лет революции. Человек добровольно сдался на милость им самим раскрепощенных, сорвавшихся с цепи стихий огня и логики. Уже с давних пор поэт ощущал враждебность техники человеку:

Я слышу гул идущих дней,
Я полон ужаса вещей
Враждебных, мертвых и зловещих,
И вызывают мой испуг
Скелет, машина и паук.

Эти стихи были им написаны в 1904 году.

В основе всего — своеобразная диалектика гетевского зла, преднамеренно, помимо ведома человека, творящего добро.

...утверждает Бога мятежом,
Творит неверьем, строит отрицаньем,
Он зодчий, но его ваяло — смерть,
А глина — вихри собственного духа.

Глубоко проникая в самую суть творящих мироздание сил, поэт оказывается по ту сторону добра и зла. С логической необходимостью одно явление вытекает из другого, приводя к самым непредвиденным последствиям. Так, довольно неожиданно, но неотразимо порох

Низвергнул знать, воздвигнул горожан,
Творя рабов свободного труда
Для равенства мещанских демократий.

Потому что:

Честь, сила, мужество — бессмысленны.
Теперь последний трус стал равен
Храбрейшему из рыцарей...

Тот же огонь, который положил начало добру, —

С тех пор, как Агни рдяное гнездо
Свил в пепле очага — пещера стала храмом,
Трапеза — таинством, огнище — алтарем,
Домашний обиход — богослуженьем.
И человечество питалось и плодилось
Пред оком грозного взыскующего Бога.
А в очаге отстаивались сплавы
Из серебра, из золота, из бронзы:
Гражданский строй, религия, семья...

— тот же огонь родил пар:

Лишь век назад хозяин догадался
Котел, в котором тысячи веков
Варился суп, поставить на колеса
И, вздев хомут, запрячь его в телегу...

В результате чего

Он человеческому торсу придал
Подобие котла, украшенного клепками;
На голову надел дымоотвод,
Лоснящийся блестящей сажей; ноги
Стесал как два столба, просунув руки в трубы,
Одежде запретил все краски, кроме
Оттенков грязи, копоти и дыма,
И, вынув души, вдунул людям пар.

В конце концов «на месте Агни воцарился взрыв», который тоже, после целого ряда еще неведомых метаморфоз, может обернуться неожиданным добром.

Одна из главных опасностей — Разум.

Есть творчество навыворот, и он
Вспять исследил все звенья мирозданья,
Разъял весь мир на вес и на число,
Пророс сознанием до недр природы...

Уйдя от «довременных снов сознания» и связанного с ним ясновидения, человек доверился разуму, и «перед ним стихии разложились», хотя он их так и не осилил. Символизируемая мечом справедливость — сомнительная сила на границе между добром и злом:

Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп, убийство на убийство
И зло на зло?

Все бедствия, ныне сыплющиеся на голову человечества как из рога изобилия, были предусмотрены поэтом в стихотворении «Пророк» с воистину галлюцинационной зоркостью. Тут и психологическая война — «Насилье истиной гнуснее всех убийств», — тут и положение человеческой личности в тоталитарном строе — «Среди рабов единственное место, достойное свободного — тюрьма!», — тут и глубокая диалектика революции — «Не в равенстве, не в братстве, не в свободе, а только в смерти — правда мятежа».

Выход Волошин видит в духовности, близкой по настроению к Мейстеру Экхардту: «Единственная заповедь: «Гори!» ...

Беги не зла, а только угасанья;
И грех и страсть — цветенье, а не зло,
Обеззараженность отнюдь не добродетель.

Цикл этот силен яркостью отдельных формулировок и силой обобщения, которая есть разновидность духовного зренья: «Животные и звезды — шлаки плоти, перегоревшей в творческом огне». Человек

Преобразил весь мир, но не себя —
Он заблудился в собственных пещерах
И стал рабом своих же гнусных слуг.

Подобно гетевскому ученику чародея, для него оказалось

Освободить и разнуздать не трудно
Неведомые дремлющие воли:
Трудней заставить их повиноваться...

И при этом «к извечным тайнам подобрал ключи и выпустил плененных исполинов».

Верх зла — Государство. Ему посвящена и словесно самая яркая глава цикла. В нем волошинский гнозис достигает подлинного пророчества. То, что при его возникновении могло показаться парадоксальным, стало неотразимой действительностью наших дней:

Судия,
Как исполнитель Каиновых функций,
Непогрешим и неприкосновенен.
Убийца без патента — не преступник,
А конкурент: ему пощада нет:
Кустарный промысел недопустим
В пределах монопольного хозяйства...

И даже:

Из всех насилий, творимых человеком над людьми,
Убийство — наименьшее, тягчайшее же — воспитанье...

И дальше: «Смысл воспитанья — самозащита взрослых от детей».

Его беспощадное разоблачение сути наступающего тоталитарного ада достигает вершины в полных сдержанной иронии строках:

Государство
Имеет монополию на производство
Фальшивых денег. Профиль на монете
И на кредитном знаке герб страны —
Есть то же самое, что оттиск пальца
На антропометрическом листке:
Расписка в преступленьи...

И он заканчивает свою острую, но правдивую картину нашей действительности:

Благонадежность, шпионаж, цензура,
Проскрипции, доносы и террор —
Вот достижения и гений революций!

Ничего более меткого и более неотразимого *против* революции еще никогда сказано не было!

Конец он видит в яркой картине Страшного Суда:

И каждый внутри себя увидел солнце
В зверином Круге... ..И сам себя судил.

Но он не исключает самого себя из рокового целого:

Я сам огонь. Мятеж в моей природе.
Но цель и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.

Волошин достигает подлинно поэтического искусства, говоря о русской истории:

Империя, оставив нору кротью,
Высиживалась из яиц
Под жаркой коронованною плотью
Своих пяти императриц.

Штейнерианская диалектика материи и духа, я и вселенной, зла и обновления облекается словесной плотью, когда автор касается природы русского духа:

Мы зараженные совестью: в каждом
Стеньке — Святой Серафим.
Отданный тем же похмельям и жаждам,
Тою же волей томим.

К сожалению, Волошин достиг полноты своих поэтических возможностей лишь тогда, когда уже нельзя было печататься, когда даже сохранность рукописей стала проблематической. Поэтому из последнего, наилучшего периода его творчества до нас дошли только случайные обрывки, наверняка неполные и, вероятно, даже не из лучших.

Особенной художественной силы Волошин достигает в цикле «Неопалимая Купина». Здесь он меньше о революции размышляет и больше непосредственно передает ее сокрушительно жестокий опыт, во всей его неприкрашенности. «На вокзале» — ряд набросков спящих, сгрудившихся в ожидании людей, почти что перечисление. Но оно составляет незабываемо яркий образ всей России, в один из особенно тягостных, напряженных, судорожных пароксизмов ее

Все это принадлежит к числу сильнейших достижений Волошина. Самое Россию он не стесняется представить в страшном виде гулящей девки:

Сквернословит, скликает напасти,
Пляшет голая — кто ей заказ?
Кажет людям срамные части,
Непотребства творит напоказ.
А проспавшись, бьется в подклетях,
Да ревет, завернувшись в платок,
О каких-то расстрелянных детях,
О младенцах, засоленных впрок.

Эти стихи странно перекликаются с мандельштамовской «шестипалой неправдой». Воистину прав был Достоевский, предчувствовавший в революции привкус людоедства!

Немало замечательного можно найти и в поэме «Россия», дошедшей до нас только в отрывках, да и то еще специально подобранных советской цензурой. Но и в этом искаженном виде она значительнее многого, несравненно более известного. Волошин сумел напитать красочностью и убедительной образностью философско-исторические абстракции. Что же касается качества белого стиха, куда там до Волошина, например, Луговскому или Солоухину! Нарочно я взял для сравнения подсоветских поэтов хорошего качества.

Образ Петербурга —

С водой стоячей, вправленной в гранит,
С дворцами цвета пламени и мяса,
С белесоватым мороком ночей,
С алтарным камнем финских чернобогов,
Растоптанным копытами коня,
И с озаренным лаврами и гневом
Безумным ликом медного Петра,

— тоже оригинальнее и ярче, чем у многих знаменитостей (вроде Бунина). Все-таки среди допущенных к печати предельно мрачных видений русской истории попадаются страницы редкой остроты, тацитовски-лаконических формулировок:

В Петрову мрежь попался разночинец,
Оторванный от родовых корней,
Отстоенный в архивах канцелярий —
Ручной Дантон, домашний Робеспьер, —
Но просвещенных принцев испугал
Неумолимый разум гильотины.

Такие тексты предполагают не только размышления автора о судьбах России, но и постоянное общение если не с единомышленниками, то с людьми, тоже способными подняться мыслью над действительностью. Такие афоризмы, как: «и вопреки бичам идеологий, колеса вязнут в старой колее», — диалектическое красноречие историка, гораздо более близкое к Г. П. Федотову, чем к Хлебникову или к Мандельштаму, — тем более интересно встретить их в поэзии.

Несравненной меткостью и оригинальностью отличается также портрет интеллигента, бывшего

Прекраснодушным, честным, мягкотелым,
Оттиснутым, как точный негатив
По профилю самодержавья: шишка,
Где у того кулак, где штык — дыра,
На месте утвержденья — отрицанье,
Идеи, чувства — все наоборот...

Во всех этих стихах имеется редкое достоинство: они один из редких, не только в русской, но и в мировой литературе, удачных примеров чисто интеллектуальной поэзии, оторванной от корней обычной поэзии, питающихся нутряными, общечеловеческими стихиями любви, смерти, судьбы, красоты и проч. Волошин жил мозгом и проблемами больше, чем сердцем и чувствами. Слабость его поэзии в том, что он так и не сумел сделать отвлеченные проблемы предметом экзистенциального переживания, как, например, Лукреций и еще очень немногие другие. Но сила ее в том, что он все-таки сделал объектом поэзии мысли и переживания, обычно выражаемые в прозе. Это придает его стихам единственный в своем роде, им одним свойственный колорит, являющийся для русской поэзии в целом безусловно обогащением.

Волошин — личность сильная, несмотря на все его несовершенства. Феноменально — он неповторим. С какой-то стороны, это заслуга бóльшая, чем даже полноценные стихи на обычные темы. Но, хотя и редко, он достигал подлинной поэзии и на свои сложные темы.

В его наследии имеется область, количественно, увы, весьма незначительная, но составляющая наивысший разряд его поэтического творчества. Она — даже не в вышеуказанных потрясающих картинах вспаханной революционным тараном России, а в специфическом для него каменистом пейзаже Центральной Азии и Крыма, где он почти полностью провел последнее десятилетие своей жизни. Мы уже упоминали об этом пейзаже, говоря об его акварелях.

Впервые он массивно вступает в волошинскую поэзию в цикле «Киммерийские сумерки», созданном в 1907–1909 гг.

<...>

Десять лет спустя, в 1918 году, как ни велики были перемены, происшедшие в жизни самого поэта и в окружающем его мире, пейзаж этот остался неизменным:

Камень зноем во мраке горячи.
Луга полынные нагорий тускло-серы...
И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи.

Когда же Волошин достиг конечной простоты больших мастеров, к которой шел всю свою жизнь, то снова выступил наружу все тот же пейзаж, неотступно преследовавший его с отроческих лет:

Столпы базальтовых гигантов,
Однообразный голос вод
И радугами бриллиантов
Переливающийся свод.

Вершиной творчества Волошина, последним его заветом, итогом всей его жизни был «Дом Поэта», написанный в 1926 г., впервые опубликованный только в 1952 г. в «Новом журнале». Это — лебединая песня, в которой все его темы сливаются в совершеннейший словесный аккорд. Тут и удачнейшая из всех формулировок его геологического пейзажа:

Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.

И еще раз подтверждается наше предположение о слиянии этого пейзажа с самим существом поэта:

Вон там — за профилем прибрежных скал,
Запечатлевших некое подобье
(Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье), —
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя...

Как первозданный хаос, этот пейзаж включает все, чем поэт всю свою жизнь:

В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то древних рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто...
Татарский глет зеленовато-бусый
Соседствует с венецианской бусой...

И мысль его, наконец преодолевшая всякие сторонние влияния, предстает здесь перед нами во всей своей величественной наготе:

Я сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, падений и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познание.

Здесь он дает ключ к своему поведению в тягчайшие «дни доносов и тревог»: «Я ж делал все, чтоб братьям помешать себя губить, друг друга истреблять». Он понял, что

Почетней быть твердым наизусть
И списываться тайно и украдкой
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

И заключает:

Будь прост, как ветер, неистоцим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни, всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

К этим словам мы можем прибавить только свое благоговейное молчание.

Париж, 11 июля 1965 г.

